Лит. Россия. — 1999 — 30 апр. — с. 12–13

Елена ПРОКЛОВА В РОЛИ

НО — ЛАДНО. Вот идет своим чередом последнее собрание. В повестке дня — выборы ЦК ВЛКСМ на очередные четыре года. Кто-то называет фамилии и имена лучших из лучших, достойнейших из достойных. Зал организованно поднимает руки с мандатами — кандидатуры одна за другой становятся членами Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского комсомола...

И вдруг где-то в середине процесса раздается:

— От творческой молодежи предлагаю избрать в ЦК лауреата премии имени Ленинского комсомола, замечательную актрису лучшего в нашей стране, передового театра МХАТа, прекрасного человека Елену Проклову!

Бу-ум! Снежная лавина — мне на голову...

А тут же за ней — еще одна:

— Принято единогласно!

Я запоздало вскакиваю. И стою, оглядываясь на все стороны. И обратно сесть на место не могу, потому что у меня — шок, самый сильный из всех, что мне довелось испытать на съезде и вообще в жизни.

Да, вот ведь еще что, чуть не упустила... В предыстории моего участия в съезде существует такая маленькая деталь: я ведь, строго говоря, не была комсомолкой. То есть когда-то и где-то меня приняли, выдали членский билет. Но буквально сразу же всякая моя связь с комсомольской организацией прервалась — я существовала вне школьной системы, а значит, и вне комсомола. В институте мне порой доставалось за это: почему это я не как все, почему не хочу принимать участие, это возмутительно в конце концов...

Мой ответ был всегда таким отмахивающимся:

— В чем участие-то принимать? В собраниях ваших, где скукотища и убивание времени? Нет, отстаньте ради Бога!

И отставали. Потому что мне да и тем, кто приставал, проще было не ломать копья, а сослаться на уважительную причину: у меня маленький ребенок, я его воспитываю одна — и вопрос с комсомолом на какое-то время отпадал. До следующей спонтанной попытки пропаганды и агитации среди меня.

Потом в театре повторялось то же самое. Я не платила взносы, не участвовала в проведении собраний, в выборах комсомольских вожаков и представляла собой частицу так называемой «несоюзной» молодежи. Благо, что все-таки это дозволялось.

И вот мне сначала вручили премию Ленинского комсомола, а потом провозгласили делегатом... После этого, без всякого моего участия, по райкомовской системе прошел мгновенный импульс. Прокрутился некий механизм — и в мгновение ока выдал готовый продукт в виде исправного комсомольского билета на мое имя, со всеми проставленными штампами о взносах. Я взяла его и отправилась на съезд. И пока это мероприятие продолжалось, я много чего испытала — прошла через искренний душевный восторг, получила достаточно других, более материальных удовольствий, — но мне и в голову не приходила мысль строить на будущее какие-то планы, связанные с комсомолом.

И вдруг — член Центрального Комитета! Право, это для меня было чересчур... Вот я и торчала в зале, где все шло себе как шло, как надо. А меня уже дергали и пытались привести в чувство:

— Да сядь ты наконец! Успокойся!

Но я не могла — колени не сгибались, голова не осознавала происшедшего:

— Нет, ну как же это... Что мне делать-то теперь? Нет, я не могу... Я не понимаю, вы скажите им...

— Сядь! Все скажем, мы все тебе скажем! Ничего не случилось, поняла? Какая тебе разница — ну, будешь членом ЦК ВЛКСМ!

Мои новые друзья как могли, по-хорошему унимали и успокаивали меня. Но такая уж я была тупая, что им пришлось еще долго возиться. Я снова и снова начинала трепыхаться:

— Нет, ну как... ну что... Я же что-то должна?

— Ничего ты не должна. Все прекрасно.

Нет, я все равно не могла усидеть — в бой рвалась, на амбразуру! Только покажите, где она! Я щас, я на нее или под танк, под вражеский поезд!

Но вот прошли дни, недели, и началось мое членство в ЦК — разумеется, без всяких амбразур и танков. Это были прекрасные четыре года, честное слово. Поездки по стране, слеты и конференции, творческие встречи — похожие на просто актерские, но уже по линии ЦК. Все это — в молодежном кругу, всегда в приподнятой атмосфере, где при этом опять же чувствовалась организованность, ритм, четкость. За границу мы тоже ездили, как еще тогда собирались, на съезде. Все это было всегда замечательно, всегда очень интересно. Меня совсем не удивляет теперь, что в воспоминаниях комсомольских вожаков присутствует столько искреннего восторга в адрес системы ВЛКСМ. Она поднимала своих сотрудников над беспросветными проблемами быта и позволяла им взять от молодости все: молодое веселье, разнообразие, ощущение себя внутри своего круга — вполне даже дружеского, почему бы и нет? *Внутри* системы, в ее людях, жило чувство сбывшейся мечты.

С регламентом я понемногу познакомилась, привыкла: небольшая официальная часть, где кто надо говорит что надо. Потом — культурная программа: музеи, достопримечательности, поездки. Отдых: пикники, шашлыки, природа и гостиницы или пансионаты цековского уровня.

Компания прекрасная — все молодцы, весельчаки, умницы. Песни у нас — бесконечные, разговоры — замечательные, оптимизм — просто бескрайний. Все друг друга нормально понимали.

Так что эти четыре года пролетели незаметно. Подошло время нового съезда. Меня заранее вызвали в ЦК и сказали, что требуется доклад. Доклад от творческой молодежи, и читать его должна я. За этим меня и вызывали — поставить в известность, а также спросить моего согласия: не имеет ли актриса Елена Проклова, член ЦК ВЛКСМ, что-нибудь против этой затеи? Времени до съезда и доклада оставалось два месяца.

— Я не против, я — только за, — ответила я и вернулась домой.

На следующий день пошла в театр.

— Давайте соберем комсомольское собрание. Срочно.

Сказано — сделано, никто не возражал: предложение провести собрание исходило от члена ЦК ВЛКСМ. Собрались, и я заявила: друзья, давайте ваши мнения, предложения. Мне предстоит выступать с докладом. Это шанс. Пусть правдивый голос нашей творческой молодежи из первичной организации будет услышан на самом высоком уровне. Чем мы недовольны, какие у нас проблемы — мы все им скажем.

Дома у меня начались бессонные ночи: я писала доклад. Выдержки читала родителям. Отец, не дослушав, вскакивал и крутил пальцем у виска:

— Ты что? С ума ты сошла? Кто тебе даст это прочесть? А если, упаси Господи, дадут, что дальше-то будет?

Я скандалила и срывалась, готовая воевать до победного. В итоге доклад был мной написан, собственноручно — от первого до последнего слова, на столе у меня выросла толстая стопа листов. Я ее сложила в папку и пришла в Центральный Комитет, как мне было сказано, в такой-то день, когда была назначена процедура «решение вопроса с моим докладом».

Пришла и положила папку на стол.

— Вот, готово.

— А что это у вас?

На меня смотрел, меня спрашивал один из секретарей ЦК ВЛКСМ. Нормальный такой, в принципе, человек. Опытный руководитель. Фамилию-имя-отчество его называть не обязательно: в том, что он дальше сделал, нет ничего, по большому счету, особенного. Вернемся пока к диалогу в его кабинете. На заданный мне вопрос я ответила:

— Это мой доклад.

— ??? Нет, ваш доклад — *вот*.

У него была готова другая папка. Мы друг на друга смотрели, одинаково не понимая один другого. Опытный Руководитель очнулся первым, что-то смекнул:

— А-а... Ваш доклад... Ну, дайте посмотреть.

Он прочитал одну страницу из того, что я принесла, и начал хохотать. Так, что аж пятнами пошел — и продолжал дальше заливаться. Такого смеха... нет, это был не смех, не хохот даже, а гогот... Такого гогота, такого *ржанья* я ни разу в жизни до тех пор не слыхала.

— В чем дело? — говорю я ему. — Что вы там прочли такого смешного?

Он все еще никак не мог успокоиться. Потом взял наконец себя в руки и сказал:

— Давайте-ка мы с вами так сделаем. Вы берите *эту* папку, а у меня оставьте вашу. Вы, значит, дома посмотрите, какие там для вас подготовили материалы. Ну и я в свою очередь тоже посмотрю, что подготовили вы. С товарищами посоветуюсь, какие-то ваши мысли тоже пригодятся, я думаю... Время у нас есть, попозже увидимся.

Я пришла домой, стала читать. В папке было то, что должно было быть: О — О — О — О — О — олимпийские кольца. (Вы не забыли еще тот анекдот?)

Я стала звонить Опытному Руководителю. Он меня успокоил:

— Все будет хорошо, ты готовься. Прочитаешь свой доклад.

А накануне назначенного дня выступления мне позвонили из театра:

— Лен, у нас тут замена. Завтра «Кремлевские куранты», ты играешь.

— Как это? Я не могу. Я выступаю с докладом.

— Нет, нам позвонили из ЦК ВЛКСМ. Доклад будет читать другой человек. Ты завтра играешь.

Вот так все произошло, совершенно заурядным образом. Что уж укладывалось в систему — то укладывалось: мой пустой комсомольский билет, мое полное неучастие в жизни первичной организации. Значась комсомолкой или частью «несоюзной молодежи», я так или иначе подходила под какую-то готовую рубрику — от сих до сих. И в роли члена ЦК ВЛКСМ я тоже до поры до времени вписывалась в какую-то системную классификацию. Ну а непрошеная моя самодеятельность с проблемами творческой молодежи поставила меня в положение вне системы. Или еще точнее — вне игры. Правила которой сработали автоматически: удаление с поля.

Ну и ладно... Для комсомольца-профессионала (типа тех моих съездовских приятелей) такой срыв значил бы гораздо больше, чем для меня. Для них это было бы полное фиаско, смерть на взлете. Для меня же просто перевернулась страница в прожитой жизни, и какое-то количество веселых компанейских эпизодов из настоящего стало прошлым. Вот и все. Моя работа, профессия, всегда компенсировала мне любой недостаток впечатлений. Она отнимала столько сил, сколько я могла ей отдать, и сожалеть о чем-то у меня не оставалось никакой возможности.

Хотя сам метод «удаления», безусловно, дал себя знать: почувствовать на себе действие некоего дистанционного управления и плюс к этому дать повод для чьего-то глухого злорадства — момент не из приятных, для меня особенно. «Казни, но выслушай» — кажется, был такой принцип еще у римлян. На мой взгляд, он исключительно справедлив, потому что гарантирует уважение к личности в самых крайних обстоятельствах.

Так или иначе — кончилось, пролетело. Если хочешь быть вечно молодым, не обязательно всю жизнь петь «не расстанусь с комсомолом». Об одном жалею: исторический документ — доклад о проблемах творческой молодежи, собственноручно изготовленный членом ЦК ВЛКСМ Еленой Прокловой, — не сохранился. Я некоторое время поразмышляла над написанным и должна теперь признаться совсем честно: все же не так легко мне далось прощание. Не с комсомолом, нет. Прощание — мгновенное! — с моими иллюзиями и моим вложенным в доклад трудом. Превращение их в пыль. Ожесточение по поводу того, что так вот у нас могут: выдвинули меня, как ящик из стола, — и задвинули. Я тогда открыла для себя: есть, значит, у нас те, кто выдвигает-задвигает, и есть «ящики», то есть все остальные граждане. И отсюда вывод: можно не церемониться. Классическое «все дозволено». Что, кому-то плохо? Ну и что, всем плохо... Вас обидели, вас не поняли? Да вы, небось, сами виноваты, только и всего... И так далее, и тому подобное.

Это не есть хорошо для человека — иметь такой опыт. Человеку только во благо, если он не обхамлен, не опрокинут вверх тормашками, ни разу не вынужден ощутить себя вещью. То, что есть лучшего в человеке, — способность увлекаться, верить, быть наивным и так далее в том же роде — не должно идти в переплавку, на броню. Душа, закаленная извне подлостью, не бессмертна и не свята.

Если мои мысли, выраженные только что, послужат поводом для улыбок читателей, «прошедших суровую жизненную школу», я улыбнусь еще раз. Что, личный опыт закалил меня недостаточно, не избавил от глупого максимализма? Ну и прекрасно!..

Впрочем, при всем максимализме я не могла забывать о насущном и материальном. Пресловутый квартирный вопрос... Мне было крайне нужно свое жилье. Я к тому времени развелась с Виталием, осталась с дочкой. В родительской квартире, в доме на улице Ермоловой, жить мне было трудно. При всем при том, что с родителями у меня искренняя обоюдная любовь. Но одно дело — любить, а другое — стеснять. Дело тут не в квадратных метрах и не в количестве комнат в квартире. Мой режим, мои занятия, мои друзья — все это плохо вписывалось в привычки старшего поколения. Тратить себя на самоограничение или подавлять маму с папой — это совсем не по мне. Так себя вести я не могла, как не могла ни на минуту допустить возможность размена жилой площади.

Я много слышала самых настойчивых советов в пользу размена, даже от близких подруг:

— Ну и что тут такого? Когда давали квартиру, ее ведь давали и на тебя. Ты имеешь право.

Какое право? Мои родители, чудесные люди, самые дорогие для меня, — и вот я им стану говорить слова «жилплощадь», «квадратные метры», сколько-то метров вам, сколько-то мне... И затем перейду от слов к делу, найду разменный вариант... А в результате не будет решен квартирный вопрос, но просто окажется разорено теплое человеческое гнездо, в котором я выросла. В котором должны и теперь, в привычной им обстановке, продолжать нормально жить не очень уже молодые люди. Они *имеют право*. А вот я — нет, если мое право задевает их хотя бы чуть-чуть.

И я жила в съемных комнатушках, в каких-то временных углах. Еще — у друзей. Еще — у тех, с кем в какой-то период намеревалась навсегда соединить свою жизнь (но поскольку не соединила, то не вхожу в дополнительные подробности на эту тему). А еще я жила в гостиницах и поездах, зачастую принимая «дальние» предложения сниматься именно из соображений, чтоб мне было где жить какое-то время...

Мечты о собственной квартире были для меня из разряда самых несбыточных. Даже встать в очередь, кооперативную, в самый ее конец, — и в эту возможность мне не верилось. А уж дождаться, что эта фантастическая очередь когда-нибудь обернется для меня номером первым, — это и вообще был бред.

Кроме того, чтобы встать в квартирную очередь, нужны были еще и деньги. Но как я ни работала, бесконечно

Окончание. Начало в № 16.

СЕБЯ САМОЙ

снимаясь и выступая с концертами (театр — это было само собой), все равно никак у меня не получалось собрать достаточно денег на квартиру. Я хочу подчеркнуть: собрать, а не заработать. Ну, не держались у меня деньги: приходили — и уходили, сколько бы я их ни зарабатывала...

Я прилагала титанические усилия, день за днем посвящая «борьбе с нуждой» (так один мой знакомый прозвал заработки на творческих встречах, очень тяжелых своим бесконечным повторением). Но нет — гонорары уплывали у меня из рук. Не создана я для того, чтобы класть денежку в кубышку. Мне всегда немножко не хватает. Я до самого последнего времени постоянно жила по системе «чуть-чуть в долг». Как только зарабатывала — первым делом какую-то часть приходилось отдавать. А остаток всегда тратился мной там, куда я заходила. Зашла на рынок — потратила на рынке. Зашла в магазин — накупила всего в магазине: в книжном — книг, в тряпичном — тряпок. Вот такой характер. Я не знаю цену деньгам. Может быть, потому, что никогда не оказывалась в ситуации их полного отсутствия, призрака голодной смерти. (Недельная голодовка, плановая она или вынужденная, — пустяк, только благо для здоровья.) И никогда денег не было столько, чтобы вообще о них не думать, просто платить, сколько понадобилось и когда понадобилось.

О деньгах еще могу сказать, что их присутствие или отсутствие *ничего* для меня не меняет. То есть меняет — но только то, что абсолютно второстепенно: наличие или отсутствие, увеличение или сокращение количества материальных предметов в моем распоряжении. А мой характер, мое настроение, взгляд на жизнь — нет, они не меняются. И значит, в сущности, не меняется ничего.

Я не пытаюсь спорить с очевидным: любому человеку, чтобы жить и действовать, нужны деньги. Идти на прием или на творческий вечер надо в соответствующем наряде, вместо него не предъявишь никакую свою особую нравственную позицию. В такой ситуации самый нравственный образ действий — он же самый простой: надо быть одетой на уровне. А это, в свою очередь, значило, что, если можно было привезти из-за границы дефицит — например, магнитофон или видео, — я эти вещи привозила. Привозила с целью продать здесь по ценам черного рынка и потратить разницу так, как требовала жизнь и мое в ней положение. И как того требовал мой характер. Одна из его черт: я люблю делать подарки. Себе и другим, причем не меньше, чем себе. А вот еще одна черта моего характера: хоть я и практиковала жить немножко в долг, но то, что беру, отдаю всегда вовремя...

И вот я получила премию, оказалась хозяйкой большой суммы, которая уже вполне «тянула» на квартиру, на первый взнос. Но очередь? Мечта так и оставалась мечтой...

И вдруг сбылась совершенно внезапно, благодаря помощи очень хорошего моего друга, тогдашнего директора «Мосфильма» Сизова Николая Трофимовича. Была поездка в Италию, от Госкино. А как правило, когда ездишь, то в таких условиях и за это время спонтанно узнаешь друг о друге почти все: как не слушается дочка, чем или кем увлекся сын и так далее. Ты рассказываешь, тебе рассказывают, потому что все чувствуют себя немножко как бы родными, своими среди чужих. Но вот уже время визита нашей делегации кинематографистов закончилось, мы летели обратно в Союз. В самолете я сидела рядом с Николаем Трофимовичем, разговор у нас зашел о том, как я живу, где я живу.

Я поплакалась, раз затронули больную тему. А Николай Трофимович был просто поражен (хотя я не совсем еще понимала, чем собственно: для всех, по-моему, жилье было острой проблемой). Он забросал меня вопросами: сколько человек прописано в квартире на улице Ермоловой? могу ли я как-то извернуться с деньгами?

Я отвечала:

— Прописаны мои родители, дедушка с бабушкой, брат, я, моя дочка... С деньгами сейчас все более-менее: снялась сразу в нескольких фильмах плюс еще премия от комсомола. Ну и призайму, как всегда...

— Ну так что же ты? Что молчишь-то столько времени?

А он ведь до того, как стать директором киностудии, работал в Моссовете. Все знал, всех знал, его все знали. И теперь Николай Трофимович не умолкал, сидя рядом со мной в самолете:

— Ты что думаешь, другие-то как квартиры получают? А ведь ты такая актриса, тебя тоже все знают. Ты и сама бы если пришла, тебе не отказали бы... Ну а уж теперь — тем более. Поможем-поможем, все что надо сделаем. Ты прямо завтра и приходи, к девяти часам.

Была такая практика: до начала рабочего дня в Моссовете, до девяти часов утра, всегда оставляли запас — минут пятнадцать, для своих людей. В это время мне и следовало принести заявление.

Настало завтра. Я пришла с заявлением и полной уверенностью, что ничего у меня из всей этой затеи не выйдет. Николай Трофимович меня встретил и повел в какой-то кабинет, где кто-то сидел:

— Здравствуйте, Иван Иванович! (Или Петр Петрович, я не помню, если честно, да если бы и помнила — вряд ли в этом случае есть разница.)

— Здравствуйте, проходите! Я вас жду. Узнал, конечно, узнал... Елена... Да вы же моя любимая актриса! И что у вас?

— Вот... Заявление, на квартиру...

Иван Иванович (Петр Петрович) его взял, прочел:

— Да, да. Конечно, тут тянуть нечего.

Николай Трофимович еще поддержал меня:

— Обязательно нужно найти вариант в пределах Садового кольца. У Елены Игоревны очень много работы — и театр, и съемки. Обязательно в пределах Садового.

Иван-Петр Петро-Иванович не возражал:

— Вы конкретно, пожалуйста, говорите, что вы хотите?

Слыша это, я верила своим ушам и не верила.

— Ой, я не знаю... А что можно?

— Ну, в пределах закона возможно все.

Эту его фразу я очень хорошо помню, с мимикой и интонацией.

— Да мне бы вот с дочкой...

— А-а, с дочкой. Значит, двухкомнатную.

Тут я совсем почти онемела и остолбенела от счастья. Наперед-то я думала-гадала, что мне предложат комнату, от силы уж — однокомнатную квартиру. А Петр-Иван уже писал красными чернилами на полях моей бумаженции. И эту его надпись я тоже отчетливо помню, сейчас прямо так и вижу:

«Срочно разобраться, об исполнении доложить».

Написав, он сказал:

— Идите в комнату номер...

Я улетела в ту комнату.

Там мне — чуть ли не как генералу, «под козырек»:

— Сейчас, сию минуту. Давайте, что там у вас...

Я подала заявление с красной резолюцией. Мне стали предлагать варианты: Теплый Стан, Бирюлево...

— Нет-нет. Вы поймите, это действительно для меня нереально.

— А больше нечего предложить.

— Спасибо. Тогда мне ничего не нужно. — Я встала, собралась уходить.

— Да сядьте вы! Что значит — не нужно? Вот, у меня написано: срочно разобраться и об исполнении доложить. Давайте еще посмотрим.

Круг начал сужаться: что-то прорезалось в районе Сокола, еще где-то что-то, на том же удалении от центра. Я мотала головой:

— И это не подходит, не успеваю. Спасибо, не нужно. Только в районе Садового кольца.

— Ну нету, нету!

— Тогда ничего не надо.

— Да сядьте вы! У меня написано: срочно и доложить! Ну вот: две квартиры — на улице Горького и в районе Тишинки, на улице Красина.

— Вот, вот эту хочу! На Горького не надо, а давайте остановимся на Красина!

— Здесь еще ждать два месяца, а на Горького все готово.

— Нет, я подожду!

— Странная вы женщина, вам лучшее предлагают.

— Ничего-ничего.

— Но это уж вас точно устроит?

— Да, точно!

— Уф, слава Богу. Свободен...

И пошел докладывать.

Вот так мой нерешаемый вопрос решился меньше чем за сутки. Через четыре дня я была на собрании кооператива, который достраивался, где вытащила жребий — номер квартиры. Через месяц я въехала, и счастливей меня не было на свете человека.

Да, это было счастье, кто из советских людей его не поймет? Хотя «обстановка» моей квартиры в течение двух примерно лет состояла только из штор и... шкур. На съемках в Узбекистане мне надарили ворох белых, классно выделанных овчин, они и стали постелью, коврами, креслами, стульями. В доме царило сплошное шкурничество. Потому что после премии денег мне снова хватало только на то, чтобы поесть и одеться...

На полу лежали люди и шкуры.
Пели песни, пили вина, и тут
Затрубили во дворе трубадуры,
Хвать стрелка и к королю волокут.

Без «хвать» не обошлось — конечно и увы. Не так, как в песне Володи, но ведь у судьбы неисчерпаемый запас неожиданностей.

Пока я обреталась то тут, то там без собственного пристанища, дочка моя Ариша почти постоянно жила на улице Ермоловой, у бабушки с дедушкой. Другого варианта не было и быть не могло. Все мы друг друга любили, обожали, но в общении, в заботе о ребенке мне приходилось ограничиваться нечастыми и непродолжительными налетами и наездами. Благодаря квартире и другим обстоятельствам моя жизнь как-то стабилизировалась к дочкиным 10 — 11 годам. Я вышла замуж второй раз, за Александра Дерябина. Теперь не надо было уже так надрываться, берясь за любую работу подряд. «Центр тяжести» в моей жизни во многом сместился на проблемы дома и семьи. Мечта забрать дочку, заботиться о ней, воспитывать как полагается готова была сбыться.

А дочка сказала мне:

— Я не хочу уходить от бабушки с дедушкой. Я тебя очень-очень люблю. Но останусь жить здесь.

К этому я была абсолютно не готова. А мои родители поддержали внучку. Вот так все получилось. Ариша осталась у моих родителей.

Кто был прав, кто не прав? И в чем? Все были правы. Потому что поступали по принципу «не могу иначе». Я не могла не работать так бешено — отнюдь не ради одних только собственных успехов, но и для того, чтобы наконец-то удобно обустроить быт, обеспечить жизнь своего ребенка. Не могла не оставлять ее надолго с родителями — этот вариант был таким естественным и таким благополучным для всех.

А ребенок мой на протяжении своих лет, таких еще зависимых от присутствия тех, кто рядом, не мог не сориентироваться именно на тех, кто был рядом *каждый день*. Да если бы и реже: разве мои родители не способны вызвать у родного (нет, даже у любого!) человека самую искреннюю любовь к себе? И этой любовью уже нельзя было манипулировать, ограничивать ее во времени и пространстве.

Понять моих родителей еще легче. Им было из чего выбирать. Или целиком и полностью, сегодня и каждый день, есть при них родной ненаглядный человечек, любящий, любимый, нуждающийся в их заботе, — а значит, их жизнь полна, разнообразна, не проваливается в пропасть одного лишь неотвратимого старения. Или человечек этот уходит и «уносит с собою небо», возвращаясь только время от времени, от случая к случаю. Разница в таком выборе видна невооруженным глазом.

Позиция каждого из нас заслуживала и понимания, и уважения. Ведь своим выбором никто никому не мстил, не было никаких Стрекоз и Муравьев: «Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши...» Нет, уж чего не было, так не было. Все были только правы, безусловно правы. И всем было больно. Но каждый чувствовал боль — как свою, так и боль другого.

Кому было больнее всех? Конечно, мне.

И кто в конце концов должен был уступить? Конечно, я. Я и уступила. Отказалась от той награды, к которой долго и трудно подходила, подступала все ближе и ближе — как мне казалось.

А кто-то, возможно, скажет, как же мне крупно повезло: и ребенка мне вырастили, и дали пожить в свое удовольствие в «блатной» квартире — что еще надо молодой женщине, к тому же не обделенной вниманием и успехом? Да, именно: что еще надо?... Об этом мне трудно сказать, и всегда было трудно, потому что самые тяжелые для меня переживания, как правило, не находят выхода в словах. Мне бы и хотелось, что называется, «выговориться», а я не могу. Но то, что зажато внутри, все равно, конечно, требует выхода и даже прорывается наконец — хотя порою в таком далеком от первопричины виде и образе...

Все было так плохо, когда Аришка решила со мной не жить.... Однажды мой бывший муж Виталий Мелик-Карамов предложил, что он за мной заедет, отвезет меня после спектакля на дачу к родителям, где с ними тогда оставалась наша дочка. Машины у меня в тот период не было, я обрадовалась:

— Хорошо, заезжай, конечно!

И вот было время уже около полуночи или за полночь, когда мы ехали к Новому Иерусалиму по Рублевке. Там мы оказались потому, что Виталий знал какую-то новую дорогу, удобную. Но мы все-таки мало-мало заплутали, останавливались, пошел уже второй час ночи. Но — ничего, погода хорошая, в машине — музыка, приятное что-то. И вдруг Виталий кричит:

— Смотри, смотри!

Я глянула, куда он показывал, — и обмерла. А когда оцепенение прошло — зарыдала. Так, что уже не могла остановиться, со мной началась истерика. Спрашивается, отчего?

Оттого, что сбоку от машины, не отставая от нас и не обгоняя, совсем рядом, мне бы только руку протянуть за окно, бежал лосенок. Бежал себе и бежал, все время с той же скоростью, с какой мы ехали. А я захлебывалась слезами...

Виталий остановил машину:

— Ты что, с ума сошла?

Я ничего не могла сказать. Просто одной внезапной частицы природной красоты, одного только вида этого лосенка — красивого, свободного лесного зверя — оказалось достаточно, чтобы мне взорваться, накопив слишком много тяжести в душе, всего такого нерешенного, запутанного, больного.

Я плохо понимала, что со мной происходит. Но так или иначе надо было жить дальше.

Коллажи Е. РОГОВА